

В безуспешных поисках творческого одиночества

(несколько размышлений у непарадного подъезда)

Он — один. Может быть, в этом кроется суть его творческого существа? Он более концентрирован в себе, вдалеке от иных крутых и шумных сборищ. В нем сохранилась редкая нашему рок-времени искренность и честность. Сознаюсь, когда я впервые столкнулся с ним на неких квартирных магнито-пиратских делах, меня изрядно смутила разряженная в воздух фраза “Я — честный рокер”. Звучало несколько самоуверенно. Мало ли кто из нас честный. Попробуй признаться в обратном. Русский воздух был насквозь пропитан иной честностью, как еще больше — “крутостью” новоявленных роковых кумиров. Или еще одно: “Отдавшем сердце рок-н-ролла я посвящаю песню эту...” Все это резало слух и даже немного раздражало. “Еще один”, — с грустью подумал я.

Впечатление резко изменилось после встречи в Питере на “ужасе № 6”, как назвал фестиваль Слава Задерий. Звук был поганый, и пипл сонно жевал ушами предательски фونهاющий воздух.

Его выступление цепляло. Это была и простота разговора, и глубина раздумий, и правда, в которой он хотел разобраться, чтобы поведать нам. Кто-то рядом назвал его “маленьким принцем 80-х”. Но еще больше захватывали его гитарные переборы. И это было неожиданно в кайф.

Нет, парни, делать о НАУМОВЕ впечатление по всем статьям, заметкам и пр. — это полная лажа, скажу я вам. Впрочем, и писать-то о нем — как видно — не очень престижно. С ним надо общаться, и если получится, вот тогда его начинаешь раскрывать и понимать до конца. Здесь не происходит той лажи сжеванной магнитофонной пленки. Наоборот, идет какая-то искренность, самоотдача за каждым словом.

...Может быть, речь в нашем разговоре шла и не совсем о роке... Но музыка, по моему убеждению, творчество, а отсюда и рок — это состояние души. Вот пожалуй, об этом и шел у нас разговор с Юрой перед отъездом.

Ю. Наумов: Для меня всегда есть и остается ближе Москва — ее атмосфера, дух, люди, постоянный поток информации. Мне всегда там легче дышалось, поэтому я всегда спешу к ней. Это мой город.

Ленинград... Это скорее мой долг. Например, сейчас я должен представить там свой новый записанный альбом — “Перекасти-Поле”, который в Москве уже знают.

Понимаешь... есть люди добрые. А есть как бы люди действия, которые присваивают себе право говорить от их имени. Первые остро чувствуют и понимают происходящее вокруг нас. И отсюда совершенно самобытное философское видение. Они очень богато подключены вот к этим глубинным внутренним токам. А есть чуваки просто на уровне “чче”, кле..., да я — рокер!..” Это говно. Так вот, примерно то же самое, только в более частном смысле, происходит с Ленинградом. Есть просто люди, в которых дух самого Петербурга. Как ни странно, представь себе, Башлачев был действительно чужеродным по происхождению Петербургу человеком. Но вот этот дух, этой смертушки Питерской, понимаешь, этой обреченности был на него очень спроецирован. Потому что человек этими клетками был очень богат, и он быстро подключился к нам. А можно прожить в Ленинграде, допустим, 90 лет, и так и умереть, ничего не поняв. “Ах, блин, я видел Белые ночи. Какой милый город на фоне Зимнего дворца. Пейзаж, вернисаж, проссаж...” Ты всегда можешь как бы интуитивно уловить людей, которые несут в себе этот чистый Питерский дух. Вот тебе прикладная ситуация: на того же самого Гребенщикова тот же Питерский дух спроецирован очень сильно. А на Розенбаума он не спроецирован никак. Но судя по песням, Розенбаум кажется большим питерским патриотом. То он воспевает крах Спаса на Крови — весь там стоит в лесах. Вот он такой весь из себя ленинградец, бьет себя пятаком в грудь. Мол, Ленинград — любимый город. А это все фуфло. Потому

что правда лежит не в зоне этих деклараций, вот в чем вся суть. И это является основной причиной, чисто для меня, почему имеет смысл как бы забить на политику. Потому что всякая самая продвинутая философия или религия, она всегда будет находиться на грани соблазна для тех людей, которые лишены по-настоящему этого духа, у которых нет всего этого богатства клеток. Они будут присваивать себе право от себя или от имени кого-то решать какое-то дело, которое им от Бога не дано. Как инквизитору не дано чувствовать религию, от имени которой он сжигает на кострах. Как погромщикам не дано на самом деле этого чувства России. Они просто присвоили себе право. Как этим ублюдкам, которые сидят в обкомах, им не дано тоже ощущение этой Родины. И тем не менее они берут слово говорить от имени народа. Так же, как и те пижоны, которые живут в Петербурге. Им не дано чувство этой обреченности. И это есть некий сверхсубстанций, какой-то сверхспирий, который является Петербургом.

Розенбаум так же далек от Питера, как и Шевчук, понимаешь. Но он чувствует себя вором в законе: я — праведник, а ты кто такой? А кто ты вообще такой? Вот об этом и речь.

Поэтому здесь это практически и психологически невозможно вычислить. Просто интуитивно можно почувствовать — на кого это больше спроецировано. В этом смысле, конечно, Гребенщиков является этим духом в своей прозрачности, в этом дрожащем голосе, в этой зыбкости какой-то. Даже не конкретно в словах, не конкретно в том, что он соврет, придумает сам. А в каком-то общем, созданном им продукте, который он от себя отдает. В нем, конечно, Петербург выписан круто, и это понимаешь.

В АВИА, например, Петербурга вовсе нет. Но это, опять же, мой взгляд. Я не имею права что-либо гнать. Потому что я сразу говорю — я не петербургский человек. Но я не хочу обманывать себя и выражаю мнение, подвластное какому-то чувству, какому-то импульсу, возникающему во мне. И я понимаю, что правда, правда о Петербурге, она в песнях Гребенщикова. Ему это было дано. Когда начинается нечто же подобное — “да я, мол, за Питер!..” — я этому не верю. Я это не признаю. Потому что люди, которые чувствуют идею от Бога, от внутреннего богатства своих нервных полей, которыми они соприкасаются с этой средой, никогда так впрямую реагировать не станут. И так в любом деле. Когда начинается какой-то оголтелый пафос, сразу ловишь себя на мысли: “Это сука”. Верить, подписываться — ни в коем случае. Это просто как некая чисто интуитивная проверка на вшивость.

И. Ваганов: А в твоих вещах какого духа, на твой взгляд, больше остается: ленинградского, московского, новосибирского?

Ю. Н.: Да какая разница. Наверное, больше всего там духа ничейности. Даже всеобщей ничейности. Всеобщей оторванности. Наверное, так.

И. В.: Что-нибудь у тебя осталось от приезда в Ростов?

Ю. Н.: Наверное, нет. Я видел обезличенный миллионный город, который вырос среди громадных бетонных коробок.

И. В.: Что у тебя связано с работой над твоим последним альбомом? Что он тебе дал?

Ю.Н.: Я не знаю, что он мне дал, я знаю, что он у меня отнял. Он у меня отнял море нервов, год жизни. Опять-таки, он заставил меня пойти на большое количество унижений. Но тем не менее он дал мне ощущение, что я сделал какую-то работу, которая очень существенная для меня, без которой я не мог бы продвинуться дальше.

И.В.: Думаешь ли ты, что для познания твоей музыки до конца нужно какое-то особое восприятие? Не продолжает ли она, на твой взгляд, оставаться сложной и элитарной для окружающих?

Ю.Н.: А черт его знает. На самом деле не в сложности дело. Что единственно необходимо, чтобы во все эти вещи врубиться,— это полное одиночество. И это возможно. И сразу она будет не сложной.

И.В.: Что ты имеешь в виду, говоря об одиночестве в данном случае

Ю.Н.: Поставить дома кассету, надеть наушники... Чтобы никакого...

И.В.: Оставил ли приезд твой сюда, эта поездка в целом, какой-то след в твоей душе и мыслях? Или это было еще одно “перекати-поле”? Не более.

Ю.Н.: Ты знаешь, я в любом случае был приятно удивлен, потому что ожидал куда более паскудной реакции. В этом смысле я, конечно, не ждал фразы “Давай металл!” Но я ждал, что из зала кто-нибудь скажет: “Чувак, а повеселее что-нибудь нельзя?” Такое случилось раньше. Это здесь не произошло, и откровенно просто порадовало.

Что касается какого-либо следа в душе, то ты слишком рано требуешь от меня ответа на этот вопрос. Надо отбыть из этого города, и еще прожить по инерции какое-то время. Чтобы это отложилось.

И.В.: У тебя часто спрашивают, как ты пишешь свои песни? Что бы ты ответил на этот вопрос?

Ю.Н.: Как...? На автопилоте. Наверное, это лучше сравнить с зомби. Тексты и музыка...

И.В.: Все выходит вместе, одновременно?

Ю.Н.: Нет, музыка всегда впереди. Музыкант — это не поэт, понимаешь. Это очень важно.

И.В.: Но когда ты пишешь, твои композиции рассчитаны на определённую аудиторию, которая тебя понимает, которая где-то тебе близка?

Ю.Н.: Да как рассчитываю? Когда я делаю какую-то вещь, я в первую очередь рассчитываю на самого себя. Я не имею морального права ее выносить народу, если она меня самого не убивает внутри. Если она для меня самого не является правдой, каким-то важным куском жизни, каким-то абстрактным чувством, которое мне самому нужно позарез. Есть внутренний полигон, который для меня является самым точным критерием. После этого — как бы до того, как я сам еще продолжаю в этом сомневаться — я буду доводить ее до той стадии, пока либо не брошу ее, поняв, что бессилён сделать ее лучше, либо доведу до фазы, когда все,— например, пойму, что эту песню я могу петь. Здесь как у Пушкина: “Ты слышишь суд глупца и смех толпы голодной...”

Доволен ли собой взыскательный, художник? Доволен ли СОБОЙ? Это единственный критерий, которому имеет смысл верить. А иначе прикидываешь — как ты тут извернулся, мол, поймут ли меня? А когда это сделано так, что ты сам в это веришь... Другой пример,— перегнул, ерунда, авось проскочит в общем потоке информации; залипуха, мол, проскользнет... Так ведь нельзя. Я могу халявно работать на советском производстве, лениво там грузить мешки с рубероидом или стараться как-то отлынить. Это другое. Но в данном случае — это мое. Вот здесь я должен действительно работать. Работать не за страх, а за совесть.

И. В.: Извини, я что-то зацепился за эту мысль — “Этот альбом прослушивать нужно в одиночестве”. Хочу спросить тебя: что больше на тебя оказывает влияния в жизни — окружение, одиночество или что-то еще? Что больше несет твое творчество, какое состояние? Что стоит ближе к твоей душе — для развития, для создания, для движения вперед? Для твоей свободы — личной, внутренней и внешней?

Ю. Н.: Я не знаю, ты задал слишком много вопросов, и на каждый из них ответ будет совершенно разный.

Я могу тебе сказать, что в последнее время я совершенно точно понял, что для меня есть процесс творчества. Это как бы осознанный мною процесс моего старения, моего путешествия в бессмертие, во время. Я чувствую, как с годами я внутренне скукоживаюсь. Это страшный процесс, это страшная казнь для меня, потому что... Цена каждой песни, особенно наиболее существенной для меня, это кладбище нервных

клеток, целая обугленная зона, которая внутри меня остается. Это концентрированное проживание, концентрированная смерть. Знаешь, написание крутой песни похоже на то, когда ты поджигаешь головки целого коробка спичек. Вспышка! И там уже все обуглено. И когда все полыхнуло — вот тот момент, когда ты пишешь песню, момент некоего всполоха.

Я никогда не был реально на уровне химии наркоманов, но на этом одномоментном сгорании тебя очень концентрирует. Это просто ощущение такого безумного, такого чисто наркотического счастья. А это очень нездоровое ощущение. Это ощущение сверхжизни, сверхпрорыва, как будто ты делаешь дырку в мозгах, в какой-то оболочке и общаешься с чем-то. И за это страшно расплачиваешься. Но вот этот момент прокола, когда ты дерешь эту оболочку и краем глаза, кончиком пальца общаешься с чем-то, это ощущение какой-то невероятной вибрации, оно есть. Понимаешь? И эти концентрированные сгорания спичечных головок — это является основным и происходит как бы на уровне самоторча. Когда ты торчишь на собственном раздробленном фрагментарно-выделенном умирании. Когда работаешь и провоцируешь себя на творчество гораздо больше, чтобы еще раз пережить этот кайф. Чтобы собрать еще раз какую-то критическую массу на песнях и снова поджечь этот коробок. Это несравнимо ни с книгой, ни с разговором с каким-то умным человеком, ни с чем-то еще. То есть, все эти вещи — это броуновское движение. Они есть накопление и движение к тому, чтобы однажды ты снова взял и чиркнул.

И. В.: Твое окружение, твои друзья, они как-то участвуют в этом процессе? Процессе творчества.

Ю. Н.: Конечно! Да все участвуют. Вы участвуете. Этот город участвует. Все участвует. Я буду лететь сегодня на высоте 11 км, среди безумного солнца и минус 56 градусов за бортом. И это тоже участвует.

То, как я живу, какие-то вещи меня как-то комкают изнутри, и все меня подталкивает, чтобы я снова чиркнул. Это может произойти раньше или позже, но я накапливаю в себе это. Все накручивается от каких-то внешних километров. Причем не особенно существенных к действию. Но со временем это количество переходит в качество.

И. В.: По какому принципу ты отбираешь песни для своего альбома?

Ю. Н.: Специально это не распланировано. Видишь ли, когда я написал вещь, которая мне очень дорога, появляется великий соблазн. выдать ее на уровне колоссального хита. Но я уже знаю отстраненный эффект — спустя год-два я смогу смотреть на нее не как на некий мир, на котором торчал. Она может стать строительным материалом внутри какого-то более прекрасного дома. Мне нужны эти материалы для того, чтобы я как-то смог с ними соотноситься... Все это выглядит громадным нагромождением фрагментов какого-то здания, очертания которого мне — пока я его не написал — не ясны. Я просто сам для себя выигрываю время.

Раньше у меня была одна песня—“Дорога”, написанная в 1984 году. Хит. В любой альбом ткну — и отлично. Все песни средние, а она... Я ее долго не отдавал. И теперь она появится в четвертом альбоме. Но она уже будет не песней-хитом, а равной среди равных. Я дождался, когда соберется иной материал, написанный позже, среди которого она будет как жемчужина в ожерельи. Заранее это не распланировано. Просто я так поступаю, хорошо себя зная: это сюда, а это в запас. Пример, “Катафалк” сделана так, что эта песня свежая, но тем не менее её можно петь уже сегодня. А “Азиатская месса” — она написана раньше, но я её ждал. Потому что для каждой вещи — своя миссия, и я интуитивно могу чувствовать, когда её лучше расписывать и тиражировать.

Представь себе, если бы Булгаков взял бы сборники своих стеговых рассказов и неожиданно запулил их с фрагментами некоторых глав колоссального романа “Мастер и Маргарита”. Он наступил бы на горло собственной песне. Но он придержал их. И это явилось строительным материалом для чего-то более невероятного. Он додержал до того момента, когда собрал все в единое стройное целое и так въехал по мозгам!..

И. В.: И последний вопрос. Твое отношение к пиратским записям?

Ю. Н.: Пиратские записи есть, и их надо давить. Раньше этого не стоило бояться, так как потери качества при таких записях были весьма существенными. Отчасти 2—3 перезаписи и все. Но теперь народ обзавелся эквалайзерами и прочим... А вообще, сам способ распространения этих записей весьма забавен...

Встреча закончилась. Но начатое требовало осмысления, своего законного продолжения и новых раздумий...

Наумов — это Перекати-Поле. Человек, который идет по земле, впитывая всю ее пыль, грязь и соки. Его внутреннее одиночество имеет большие преимущества перед многими. Он не тешится иллюзией некоей общины. Того, что “мы — вместе”. Он совершенно четко сознает, что он — один и Один.

Игорь ВАГАНОВ. г. Ростов-на-Дону, 1990.

Источник: Иванов. – Тула, (год неизвестен) С.12.